



Иван
ШМЕЛЕВ



ЛЕТО
ГОСПОДНЕ



АЗБУКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
Ш 72

Серийное оформление Евгения Савченко

В тексте произведений частично сохранены
авторская орфография и пунктуация.

ISBN 978-5-389-22514-5

© Оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2023
Издательство Азбука®

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Чистый понедельник

Я просыпаюсь от резкого света в комнате: голый какой-то свет, холодный, скучный. Да, сегодня Великий пост. Розовые занавески, с охотниками и утками, уже сняли, когда я спал, и оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас Чистый понедельник, и все у нас в доме чистят. Серенькая погода, оттепель. Капает за окном — как плачет. Старый наш плотник — «филёнщик» Горкин — сказал вчера, что Масленица уйдет — заплачет. Вот и заплакала — кап... кап... кап... Вот она! Я смотрю на растерзанные бумажные цветочки, на золоченый пряник «масленицы» — игрушки, принесенной вчера из бань: нет ни медведиков, ни горок, — пропала радость. И радостное что-то копошится в сердце: новое все теперь, другое. Теперь уж «душа начнется», Горкин вчера рассказывал, «душу готовить надо». Говеть, поститься, к Светлому дню готовиться.

— Косого ко мне позвать! — слышу я крик отца, сердитый.

Отец не уехал по делам: особенный день сегодня, строгий, — редко кричит отец. Случилось что-нибудь важное. Но ведь он же его простил за пьянство, отпустил ему все грехи: вчера был Прощеный день. И Василь Василич простил всех нас, так и сказал в столовой на коленках — «всех прощаю!». Почему же кричит отец?

Отворяется дверь, входит Горкин с сияющим медным тазом. А, Масленицу выкуривать! В тазу горячий кирпич и мятка, и на них поливают уксусом. Старая моя нянька Дом-

нушка ходит за Горкиным и поливает, в тазу шипит, и подымается кислый пар, — священный. Я и теперь его слышу, из дали лет. Священный... так называет Горкин. Он обходит углы и тихо колышет тазом. И надо мной колышет.

— Вставай, милоч, не нежся... — ласково говорит он мне, всовывая таз под полог. — Где она у тебя тут, Масленица-жирнуха... мы ее выгоним. Пришел пост — отгрызу у волка хвост. На постный рынок с тобой поедем, васильевские певчие петь будут — «душе моя, душе моя», — заслушаешься.

Незабвенный, священный запах. Это пахнет Великий пост. И Горкин совсем особенный, — тоже священный будто. Он еще досвету сходил в баню, попарился, надел все чистое, — Чистый сегодня понедельник! — только казакинчик старый: сегодня все самое затрапезное наденут, так «по закону надо». И грех смеяться, и надо намазать голову, как Горкин. Он теперь ест без масла, а голову надо по закону «для молитвы». Сияние от него идет, от седенькой бородки, совсем серебряной, от расчесанной головы. Я знаю, что он святой. Такие — угодники бывают. А лицо розовое, как у херувима, от чистоты. Я знаю, что он засушил себе черных сухариков с солью и весь пост будет с ними пить чай — «за сахар».

— А почему папаша сердитый... на Василь Василича так?

— А, грехи... — со вздохом говорит Горкин. — Тяжело тоже переламываться, теперь все строго, пост. Ну и сердются. А ты держись, про душу думай. Такое время, все равно как последние дни пришли... по закону-то! Читай — «Господи-Владыко живота моего». Вот и будет весело.

И я принимаюсь читать про себя недавно выученную постную молитву.

В комнатах тихо и пустынно, пахнет священным запахом. В передней, перед красноватой иконой Распятия, очень старой, от покойной прабабушки, которая ходила по старой вере, зажгли постную, голого стекла, лампадку, и теперь она будет негасимо гореть до Пасхи. Когда зажигает отец, — по

субботам он сам зажигает все лампадки, — всегда напевает приятно-грустно: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко», и я напеваю за ним, чудесное:

И свято-е... Воскресе-ние Твое
Сла-а-вим!

Радостное до слез бьется в моей душе и светит от этих слов. И видится мне, за вереницею дней поста, — Святое Воскресенье, в светах. Радостная молитвочка! Она ласковым светом светит в эти грустные дни поста.

Мне начинает казаться, что теперь прежняя жизнь кончается и надо готовиться к *той* жизни, которая будет... где? Где-то, на небесах. Надо очистить душу от всех грехов, и поэтому все кругом — другое. И что-то особенное около нас, невидимое и страшное. Горкин мне рассказал, что теперь — «такое, как душа растает с телом». *Они* стерегут, чтобы ухватить душу, а душа трепещет и плачет — «увы мне, оканная я!». Так и в ефимонах теперь читается.

— Потому *они* чувят, что им конец подходит, Христос воскреснет! Потому и пост даден, чтобы к церкви держаться больше, Светлого Дня дожждаться. И не помышлять, понимаешь. Про земное не помышляй! И звонить все станут: по-мни... по-мни!.. — поокивает он так славно.

В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовущий благовест — по-мни.. по-мни... Это жалостный колокол, по грешной душе плачет. Называется — постный благовест. Шторы с окон убрали, и будет теперь по-бедному, до самой Пасхи. В гостиной надеты серые чехлы на мебель, лампы завязаны в коконы, и даже единственная картина — «Красавица на пиру» — закрыта простынею. Преосвященный так посоветовал. Покачал головой печально и прошептал: «Греховная и соблазнительная картинка!» Но отцу очень нравится — такой шик! Закрыта и печатная картинка, которую отец называет почему-то — «прянишниковская», как старый дьячок пляшет, а старуха его метлой колотит. Эта очень понравилась преосвященному, смеялся даже. Все домашние очень строги и в затрапезных платьях с заплатами

и мне велели надеть курточку с продранными локтями. Ковры убрали, можно теперь ловко кататься по паркетам, но только страшно, Великий пост: раскатишься — и сломаешь ногу. От Масленицы нигде ни крошки, чтобы и духу не было. Даже заливную осетрину отдали вчера на кухню. В буфете остались самые расхожие тарелки, с бурыми пятнышками-щербинками, — великопостные. В передней стоят миски с желтыми солеными огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа, и с рубленой капустой, кислой, густо посыпанной анисом, — такая прелесть. Я хватаю щепотками, — как хрустит! И даю себе слово не скоромиться во весь пост. Зачем скоромное, которое губит душу, если и без того все вкусно? Будут варить компот, делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой, горох, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака, розовые баранки, «кресты» на Крестопоклонной... мороженая клюква с сахаром, заливные орехи, засахаренный миндаль, горох моченый, бублики и сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновая, постный сахар — лимонный, малиновый, с апельсинчиками внутри, халва... А жареная гречневая каша с луком, запить кваском! А постные пирожки с груздями, а гречневые блины с луком по субботам... а кутья с мармеладом в первую субботу, какое-то «коливо»! А миндальное молоко с белым киселем, а киселек клюквенный с ванилью, а... великая кулебяка на Благовещение, с вязигой, с осетринкой! А калья, необыкновенная калья, с кусочками голубой икры, с маринованными огурчиками... а моченые яблоки по воскресеньям, а талая, сладкая-сладкая «рязань»... а «грешники», с конопляным маслом, с хрустящей корочкой, с теплой пустотой внутри!.. Неужели и там, куда все уходит из этой жизни, будет такое постное! И почему все такие скучные? Ведь все — другое, и много, так много радостного. Сегодня привезут первый лед и начнут набивать подвалы, — весь двор завалят. Поедем на «постный рынок», где стон стоит, великий грибной рынок, где я никогда не был... Я начинаю прыгать от радости, но меня останавливают:

— Пост, не смей! Погоди, вот сломаешь ногу.

Мне делается страшно. Я смотрю на Распятие. Мучается Сын Божий! А Бог-то как же... как же Он допустил?.. Чувствуется мне в этом великая тайна — *Бог*.

В кабинете кричит отец, стучит кулаком и топает. В такой-то день! Это он на Василь Василича. А только вчера простил. Я боюсь войти в кабинет, он меня непременно выгонит, «сгоряча», — и притаиваюсь за дверью. Я вижу в щелку широкую спину Василь Василича, красную его шею и затылок. На шее играют складочки, как гармонья, спина шатается, а огромные кулаки выкидываются назад, словно кого-то отгоняют, — злого духа? Должно быть, он и сейчас еще «подшофе».

— Пьяная морда! — кричит отец, стуча кулаком по столу, на котором подпрыгивают со звоном груды денег. — И посеи́час пьян?! в такой-то великий день! Грешу с вами, с чертями... прости, Господи! Публику чуть не убили на катанье?! А где был болван-приказчик? Мешок с выручкой потерял... на триста целковых! Спасибо, старик-извозчик Бога еще помнит, привез... в ногах у него забыл?! Вон в деревню, расчет!..

— Ни в одном глазе, будь-п-кой-ны-с... в баню ходил-парился... Чистый понедельник-с... все в бане, с пяти часов, как полагается... — докладывает, нагибаясь, Василь Василич и все отталкивает кого-то сзади. — Посчитайте... все сполна-с... хозяйское добро у меня... в огне не тонет, в воде не горит-с... чисто-начисто...

— Чуть не изувечили публику! Пьяные с гор катали? От квартального с Пресни записка мне... Чем это пахнет? Докладывай, как было.

— За тыщу выручки-с, посчитайте. Билеты докажут, все цело. А так было. Я через квартального, правда... ошибся... ради хозяйского антресу. К ночи пьяные навалились, — катать! Маслену скатываем! Ну скатили дилижан, кричат — жоце! Восьмеро сели, а Антон Кудрявый на коньках не стоит, заморился с обеда, все катал... ну, выпивши маленько...

— А ты трезвый?

— Как стеклышко, самого квартального на санках только прокатил, свежий был... А меня в плен взяли! А вот так-с. Навалились на меня с Таганки мясники... с блинами на горы приезжали и с кулками... Очень я им пондравился...

— Рожа твоя пьяная понравилась! Ну, ври...

— Забрали меня силом на дилижан, по-гнал нас Антошка... А они меня поперек держут, распорядиться не позволяют. Лети-им с гор... не дай Бог... вижу, пропадать нам... Кричу — Антоша, пятками режь, задерживай! Стал сдерживать пятками, резать... да с ручки сорвался, под дилижан, а дилижан три раза перевернулся на всем лету, меня в это место... с кулак нажгло-с... А там, дураки, без моего глазу... другой дилижан выпустили с пьяными. Петрушка Глухой повел... ну, тоже маленько для проводов Масленой не вовсе тверезый... В нас и ударило, восемь человек! Вышло сокрушение, да Бог уберег, в днище наше ударили, пробили, а народ только пораскидало... А там третий гонят, Васька не за свое дело взялся да на полгоре свалил всех, одному ногу зацепило, сапог валеный, спасибо, уберег от полома. А то бы нас всех побило... лежали мы на льду, на самом на ходу... Ну, писарь квартальный стал пужать, протокол писать, а ему квартальный воспретил, смертоубийства не было! Ну, я писаря повел в листоран, а газетчик тут грозился пропечатать фамилию вашу... и ему солянки велел подать... и выпили-с! Для хозяйского антире-су-с. А квартальный велел в девять часов горы закрыть, по закону, под Великий пост, чтобы было тихо и благородно... все веселения, чтобы для тишины.

— Антошка с Глухим как, лежат?

— Уж в бане парились, целы. Иван Иваныч, фершал, смотрел, велел тертого хрену под затылок. Уж капуста просят. Напужался было я, без памяти оба вчерась лежали, от... сотрясения-с! А я все уладил, поехал домой, да... голову мне поранило о дилижан, память пропала... один мешочек мелочи и забыл-с... да свой ведь извозчик-то, сорок лет ваше семейство знает!

— Ступай... — упавшим голосом говорит отец. — Для такого дня расстроил... Говей тут с вами!.. Постой... Нарядов сегодня нет, прикажешь снег от сараев принять... двадцать возов льда после обеда пригнать с Москва-реки, по особому наряду, дашь по три гривенника. Мошенники! Вчера прощение просил, а ни слова не доложил про скандал! Ступай с глаз долой.

Василь Василич видит меня, смотрит сонно и показывает руками, словно хочет сказать: «Ну, ни за что!» Мне его жалко и стыдно за отца: в такой-то великий день, грех!

Я долго стою и не решаюсь — войти? Скриплю дверь. Отец, в сером халате, скучный, — я вижу его нахмуренные брови, — считает деньги. Считает быстро и ставит столбиками. Весь стол в серебре и меди. И окна в столбиках. Постучивают счеты, почокивают медяки и — звонко — серебро.

— Тебе чего? — спрашивает он строго. — Не мешай. Возьми молитвенник, почитай. Ах, мошенники... Нечего тебе слонов продавать, учи молитвы!

Так его все расстроило, что и не ущипнул за щечку.

В мастерской лежат на стружках, у самой печки, Петр Глухой и Антон Кудрявый. Головы у них обложены листьями кислой капусты, — «от угара». Плотники, сходявшие в баню, отдыхают, починяют полушубки и армяки. У окошка читает Горкин Евангелие, кричит на всю мастерскую, как дьячок. По складам читает. Слушают молча и не курят: запрещено на весь пост, от Горкина; могут идти на двор. Стряпуха, стараясь не шуметь и слушать, наминает в огромных чашках мурцовку-тюрю. Крепко воняет редькой и капустой. Полупудовые ковриги дымящегося хлеба лежат горой. Стоят ведерки с квасом и с огурцами. Черные часики стучат скучно. Горкин читает-плачет:

— ...И вси... свя-тии... ангелы с Ним.

Поднимается шершавая голова Антона, глядит на меня мутными глазами, глядит на ведро огурцов на лавке, прислушивается к напевному чтению святых слов — и тихим, просящим, жалобным голосом говорит стряпухе:

— Ох, кваску бы... огурчика бы...

А Горкин, качая пальцем, читает уже строго:

«Идите от Меня... в огонь вечный... уготованный диаволу и аггелам его!..»

А часики, в тишине, — чи-чи-чи...

Я тихо сижу и слушаю.

После унылого обеда, в общем молчании, отец все еще расстроен, — я тоскливо хожу во дворе и ковыряю снег. На грибной рынок поедем только завтра, а к ефимонам рано. Василь Василич тоже уныло ходит, расстроенный. Поковыряет снег, постоит. Говорят, и обедать не садился. Дрова поколет, сосульки метелкой посбивает... А то стоит и ломает ногти. Мне его очень жалко. Видит меня, берет лопаточку, смотрит на нее чего-то и отдает — ни слова.

— А за что изругали! — уныло говорит он мне, смотря на крыши. — Расчет, говорят, бери... за тридцать-то лет! Я у Иван Иваныча еще служил, у дедушки... с мальчишек... Другие дома нажили, трактиры пооткрывали с ваших денег, а я вот... расчет! Ну, прошуся, в деревню поеду, служить ни у кого не стану. Ну, пусть им Господь простит...

У меня перехватывает в горле от этих слов. За что?! и в такой-то день! Велено всех прощать, и вчера всех простили и Василь Василича.

— Василь Василич! — слышу я крик отца и вижу, как отец, в пиджаке и шапке, быстро идет к сараю, где мы беседуем. — Так как же это, по билетным книжкам выходит выручки к тысяче, а денег на триста рублей больше? Что за чудеса?..

— Какие есть — все ваши, а чудесов тут нет, — говорит в сторону, и строго, Василь Василич. — Мне ваши деньги... у меня еще крест на шее!

— А ты не серчай, чучело... Ты меня знаешь. Мало ли у человека неприятностей.

— А так, что вчера ломались на горы, Масленая... и задорные, не желают ждать... швыряли деньгами в кассю, а билета не хотят... не воры мы, говорят! Ну, собирали кто

где. Я изо всех сумок повытряс. Ребята наши надежные... ну, пятерку пропили, может... только и всего. А я... я вашего добра... Вот у меня, вот вашего всего!.. — уже кричит Василь Василич и враз вывертывает карманы куртки.

Из одного кармана вылетает на снег надкусанный кусок черного хлеба, а из другого огрызок соленого огурца. Должно быть, не ожидал этого и сам Василь Василич. Он нагибается, конфузливо подбирает и принимается сгребать снег. Я смотрю на отца. Лицо его как-то осветилось, глаза блеснули. Он быстро идет к Василь Василичу, берет его за плечи и трясет сильно, очень сильно. А Василь Василич, выпустив лопату, стоит спиной и молчит. Так и кончилось. Не сказали они ни слова. Отец быстро уходит. А Василь Василич, помаргивая, кричит, как всегда, лихо:

— Нечего проклажаться! Эй, ребята... забирай лопаты, снег убирать... лед подвоят — некуда складывать!

Выходят отдохнувшие после обеда плотники. Вышел Горкин, вышли и Антон с Глухим, потерялись снежком. И пошла ловкая работа. А Василь Василич смотрел и медленно, очень довольный чем-то, дожевывал огурец и хлеб.

— Постишься, Вася? — посмеиваясь, говорит Горкин. — Ну-ка покажи себя, лопаточкой-то... блинчики-то повытрясем.

Я смотрю, как взлетает снег, как отвозят его в корзинах к саду. Хрустят лопаты, слышится рыканье, пахнет острой редькой и капустой. Начинают печально благовестить — по-мни... по-мни... — к ефимонам.

— Пойдем-ка в церкву, васильевские у нас сегодня поют, — говорит мне Горкин.

Уходит приодеться. Иду и я. И слышу, как из окна сеней отец весело кличет:

— Василь Василич... зайди-ка на минутку, братец.

Когда мы уходим со двора под призывающий блавест, Горкин мне говорит взволнованно, — дрожит у него голос:

— Так и поступай, с папашеньки пример бери... не обижай никогда людей. А особливо, когда о душе надо... пеши. Василь Василичу четвертной билет выдал для говенья... мне тоже четвертной, ни за что... десятникам по пятишне, а ро-

бятам по полтиннику, за снег. Так вот и обходись с людьми. Наши робята хо-рошие, они це-нют...

Сумеречное небо, тающий липкий снег, призывающий благовест... Как это давно было! Теплый, словно весенний, ветерок... — я и теперь его слышу в сердце.

Ефимоны

Я еду к ефимонам с Горкиным. Отец задержался дома, и Горкин будет за старосту. Ключи от свечного ящика у него в кармане, и он все позванивает ими: должно быть, ему приятно. Это первое мое *стояние*, и оттого мне немножко страшно. То были службы, а теперь уж пойдут стояния. Горкин молчит и все тяжело вздыхает, от грехов должно быть. Но какие же у него грехи? Он ведь совсем святой — старенький и сухой, как и все святые. И еще плотник, а из плотников много самых больших святых: и Сергей Преподобный был плотником, и святой Иосиф. Это самое святое дело.

— Горкин, — спрашиваю его, — а почему *стояния*?

— Стоять надо, — говорит он, поокивая мягко, как и все владимирцы. — Потому как на Страшном суду стоишь. И бойся! Потому — их-фимоны.

Их-фимоны... А у нас называют — ефимоны, а Марьюшка-кухарка говорит даже «филимоны», совсем смешно, будто выходит филин и лимоны. Но это грешно так думать. Я спрашиваю у Горкина, а почему же филимоны, Марьюшка говорит?

— Один грех с тобой. Ну какие тебе филимоны... Их-фимоны! Господне слово от древних век. Стояние — покаяние со слезьми. Ско-рбе-ние... Стой и шопчи: Боже, очисти мя, грешного! Господь тебя и очистит. И в землю кланяйся. Потому их-фимоны!..

Таинственные слова, священные. Что-то в них... Бог будто? Нравится мне и «яко кадило пред Тобою», и «непщевати вины о гресех», — это я выучил в молитвах. И еще — «жертва вечерняя», будто мы ужинаем в церкви и с нами

Бог. И еще — радостные слова «чаю Воскресения мертвых!». Недавно я думал, что это *там* дают мертвым по воскресеньям чаю, и с булочками, как нам. Вот глупый! И еще нравится новое слово «целому-дрие», — будто звон слышится? Другие это слова, не наши: Божьи это слова.

Их-фимоны, стояние... как будто та жизнь подходит, небесная, где уже не мы, а *души*. Там — прабабушка Устинья, которая сорок лет не вкушала мяса и день и ночь молилась с кожаным ремешком по Священной книге. Там и удивительные Мартын-плотник, и маляр Прокофий, которого хоронили на Крещение в такой мороз, что он не отгадет до самого Страшного суда. И умерший недавно от скарлатины Васька, который на Рождестве Христа славил, и кривой сапожник Зола, певший стишок про Ирода, — много-много. И все мы туда *преставимся*, даже во всякий час! Потому и стояние, и ефимоны, и благовест печальный — по-мни — по-мни...

И кругом уже все — *такое*. Серое небо, скучное. Оно стало как будто ниже, и все притихло: и дома стали ниже и притихли, и люди загрустили, идут, наклонивши голову, все в грехах. Даже веселый снег, вчера еще так хрустевший, вдруг почернел и мякнет, стал как толченые орехи, халва халвой, — совсем его развезло на площади. Будто и снег стал грешный. По-другому каркают вороны, словно их что-то душит. Грехи душат? Вон, на березе за забором, так изгибает шею, будто гусак клюется.

— Горкин, а вороны преставятся на Страшном суде?

Он говорит — это неизвестно. А как же на картинке, где Страшный суд?.. Там и звери, и птицы, и крокодилы, и разные киты-рыбы несут в зубах голых человек, а Господь сидит у золотых весов, со всеми ангелами, и зеленые злые духи с вилами держат записи всех грехов. Эта картинка висит у Горкина на стене с иконками.

— Пожалуй что, и вся тварь воскреснет... — задумчиво говорит Горкин. — А за что же судить! Она — тварь неразумная, с нее взятки гладки. А ты не думай про глупости, не такое время, не помышляй.

Не такое время, я это чувствую. Надо скорбеть и не помышлять. И вдруг — воздушные разноцветные шары! У Митриева трактира мотается с шарами парень, должно быть, пьяный, а белые половые его пихают. Он рвется в трактир с шарами, шары болтаются и трещат, а он ругается нехорошими словами, что надо чайку попить.

— Хозяин выгнал за безобразие! — говорит Горкину половой. — Дни строгие, а он с Масленой все прощается, шарашник. Гости обижаются, все черным словом...

— За шары подавай!.. — кричит парень ужасными словами.

— Извошки спичкой ему прожгли. Не ходи безо времени, у нас строго.

Подходит знакомый будочник и куда-то уводит парня.

— Сажай его «под шары», Бочкин! Будут ему шары... — кричат половые вслед.

— Пойдем уж... грехи с этим народом! — вздыхает Горкин, таща меня. — А хорошо, строго стало... блюдет наш Митрич. У него теперь и сахарку не подадут к парочке, а все с изюмчиком. И очень всем ндравится порядок. И машину на первую неделю запирает, и лампадки везде горят, афонское масло жгет, от Пантелемона. Так блюде-от..!

И мне нравится, что блюдет.

Мясные на площади закрыты. И Коровкин закрыл колбасную. Только рыбная Горностаева открыта, но никого народу. Стоят короба снетка, свесила хвост отмякшая сизая белуга, икра в окоренке красная, с воткнутой лопаточкой, коробочки с копчушкой. Но никто ничего не покупает, до субботы. От закусовых пахнет грибными щами, поджаренной картошкой с луком; в каменных противнях кисель гороховый, можно ломтями резать. С санных полков спускают пузатые бочки с подсолнечным и черным маслом, хлюпают-бултыхают жестянки-маслососы, — пошла работа! Стелется вязкий дух, — теплым печеным хлебом. Хочется теплой корочки, но грех и думать.

— Постой-ка, — приостанавливается Горкин на площади, — никак уж Базыкин гроб Жирнову-покойнику сготовил, народ-то смотрит? Пойдем поглядим, на мертвые дроги сейчас вздывать будут. Обязательно ему...

Мы идем к гробовой и посудной лавке Базыкина. Я не люблю ее: всегда посередке гроб, и румянький старичок Базыкин обивает его серебряным глазетом или лиловым плюсом с белой крахмальной выпушкой из синевато-белого коленкора, шуршащего, как стружки. Она мне напоминает чем-то кружевную оборочку на кондитерских пирогах, — неприятно смотреть и страшно. Я не хочу идти, но Горкин тянет.

В накопившейся с крыши луже стоит черная гробовая колесница, какая-то пустая, голая, запряженная черными, похоронными конями. Это не просто лошади, как у нас: это особенные кони, страшно худые и долгоногие, с голодными желтыми зубами и тонкой шеей, словно ненастоящие. Кажется мне, — постукивают в них кости.

— Жирнову, что ли? — спрашивает у народа Горкин.

— Ему, покойнику. От удара в банях помер, а вот уж и «дом» сготовили!

Четверо оборванцев ставят на колесницу огромный гроб, «жирновский». Снизу он — как колода, темный, на искрасна-золоченых пятках, жирно сияет лаком, даже пахнет. На округлых его боках, между золочеными скобами, набиты херувимы из позлащенной жести, с раздутыми щеками в лаке, с уснувшими круглыми глазами. Крылья у них разрезаны, и гнутся, и цепляют. Я смотрю на выпушку обивки, на шуршащие трубочки из коленкора, боюсь заглянуть вовнутрь... Вкладывают шумящую перинку, — через реденький коленкор сквозится сено, — жесткую мертвую подушку, поднимают подбитую атласом крышку и глухо хлопают в пустоту. Розовенький Базыкин суетится, подгибает крыло у херувима, накрывает суконцем, подтыкает, садится с краю и кричит Горкину:

— Гробок-то! Сам когда-а еще у меня дубок пометил, царство ему небесное, а нам поминки!.. Ну, с Господом.

В глазах у меня остаются херувимы с раздутыми щеками, бледные трубочки оборки... и стук пустоты в ушах. А благовест призывает — по-мни... по-мни...

— В Писании-то как верно — «человек, яко трава»... — говорит сокрушенно Горкин. — Еще утром вчера у нас с гор катался, Василь Василич из уважения сам скатывал, а вот... Рабочие его рассказывали, двои блины вчера ел да поужинал-заговелся, на щи с головизной приналег, не воздержался... да кулебячки, да кваску кувшинчик... Встал в четыре часа, пошел в бани попариться для поста, Левон его и парил, у нас, в дворянских... А первый пар, знаешь, жесткий, ударяет. Посинел-посинел, пока цирульника привели, пивявки ставить, а уж он го-тов. Теперь уж *там*...

Кажется мне, что последние дни приходят. Я тихо поднимаюсь по ступеням, и все поднимаются тихо-тихо, словно и они боятся. В ограде покашливают певчие, хлещутся нотами мальчишки. Я вижу толстого Ломшакова, который у нас обедал на Рождестве. Лицо у него стало еще желтее. Он сидит на выступе ограды, нагнув голову в серый шарф.

— Уж постарайся, Сеня, «Помощника»-то, — ласково просит Горкин. — «И прославлю Его, Бог-Отца Моего» поворчи погуще.

— Ладно, поворчу... — хрипит Ломшаков из живота и вынимает подковку с маком. — В больницу велят ложиться, душит... Октаву теперь Батырину отдали, он уж поведет орган-то, на «Господи Сил, помилуй нас». А на «душе моя» я трону, не беспокойся. А в Благовещенье на кулебячку не забудь позвать, напомни старосте... — хрипит Ломшаков, заглатывая подковку с маком. — С прошлого года вашу кулебячку помню.

— Привел бы Господь дожить, а кулебячка будет. А дишканта не подгадят? Скажи, на грешники по пятаку дам.

— А за виски?.. Ангелами воспрянут.

В храме как-то особенно пустынно, тихо. Свечи с паникадил убрали, сняли с икон венки и ленты: к Пасхе все будет

новое. Убрали и сукно с приступков, и коврики с амвона. Канун и аналой одеты в черное. И ризы на престоле — великопостные, черное с серебром. И на великом Распятии, до «адамовой головы», — серебряная лента с черным. Темно по углам и в сводах, редкие свечи теплятся. Старый дьячок читает пустынно-глухо, как в полусне. Стоят, преклонивши головы, вздыхают. Вижу я нашего плотника Захара, птичника Солодовкина, мясника Лощенова, Митриева — трактирщика, который блюдет, и многих, кого я знаю. И все преклонили голову, и все вздыхают. Слышится вздох и шепот — «о, Господи...». Захар стоит на коленях и беспрестанно кладет поклоны, стучается лбом в пол. Все в самом затрапезном, темном. Даже барышни не хихикают, и мальчишки стоят у амвона смиренно, их не гоняют богаделки. Зачем уж теперь гонять, когда последние дни подходят! Горкин за свечным ящиком, а меня поставил к аналою и велел строго слушать. Батюшка пришел на середину церкви к аналою, тоже преклонив голову. Певчие начали чуть слышно, скорбно, словно душа вздыхает:

По-мо-щник и по-кро-ви-тель
Бысть мне во спасе-ние...
Сей мо-ой Бо-ог...

И начались ефимоны, *стояние*.

Я слушаю страшные слова: «увы, окаянная моя душе», «конец приближается», «скверная моя, окаянная моя... душеблудница... во тьме остави мя, окаянного!..»

Помилуй мя, Бо-же... поми-луй мя!..

Я слышу, как у батюшки в животе урчит, думаю о блинах, о головизне, о Жирнове. Может сейчас умереть и батюшка, как Жирнов, и я могу умереть, а Базыкин будет готовить гроб. «Боже, очисти мя, грешного!» Вспоминаю, что у меня мокнет горох в чашке, размок пожалуй... что на ужин будет пареный кочан капусты с луковой кашей и грибами, как всегда в Чистый понедельник, а у Муравлятникова го-

Шмелев И.

Ш 72 **Лето Господне** : роман / Иван Шмелев. — СПб. :
Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 448 с. — (Мировая
классика).

ISBN 978-5-389-22514-5

По отзывам современников, Иван Шмелев стал «самым русским» из эмигрантских писателей, который выговорил о России всю «глубинную правду», создав ее очищенный от случайностей, прекрасный и светлый образ, одухотворенный высшим смыслом и верой. Выйдя за рамки национальной литературы, творчество Шмелева обрело общечеловеческое значение; его произведения получили европейскую известность и были переведены на десятки языков. Писатель дважды номинировался на Нобелевскую премию по литературе.

Роман «Лето Господне» был написан в годы эмиграции и изначально печатался в виде отдельных очерков, проникнутых тоской по утраченной родине. Отдельным изданием «Лето Господне», которое составили три части: «Праздники», «Радости», «Скорби», — вышло в Париже в 1948 году и было признано вершиной творчества писателя. «Я показываю лицо Святой Руси, которую я ношу в своем сердце... — писал Шмелев. — Россию, которая заглянула в мою детскую душу».

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Литературно-художественное издание

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЕВ

ЛЕТО ГОСПОДНЕ

Ответственный редактор Оксана Сабурова
Художественный редактор Александр Балабанов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Корректор Елена Терскова
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 30.12.2022. Формат издания 84 × 108 ¹/₃₂.
Печать офсетная. Тираж 5000 экз. Усл. печ. л. 23,52.
Заказ № .

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1.
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А



A-AMC-31491-01-R